



# Культурная патография неототалитарного сознания

# 14

Социокультурная значимость применения термина «новый тоталитаризм» («неототалитаризм») становится очевидной в свете кризиса, который пережил постмодерн. Кризис наступает после краха проекта мультикультурализма (маркером этого краха послужила пресловутая «трагедия 11 сентября» в США). Это, соответственно, побуждает к поиску новых путей развития общества, которые послужили бы «противоядием» в ситуации симуляции ценностей. Зияние расширяется, вызывая тоску по идеалу, потребность в восстановлении утраченных горизонтов этики. Заполнить это зияние и эту потребность можно только некой Большой Идеей, которая давала бы каждому чувство солидарности и возвращения самости через целое. Так, после провозглашения во второй половине XX века «деидеологизации» вновь возрождается идеология как компенсатор этического, что имеет множество проявлений: «неомодерн», «новая архаика», «новый феодализм», «новое средневековье», «реваншизм», «виртуальный терроризм».

Воплощением идеологического «бума» неомодерна стал неототалитаризм – комплекс установок, основанный на усилении крайних правых тенденций развития общества (западного, российского, украинского), сформированных на основании информационных и общественных механизмов либерал-демократии. Радикализм, который кладется в основу такой тоталитарности, претендует на предоставление четкой непротиворечивой картины мира и синкретично сочетает мировоззренческие черты трех цивилизационных моделей («волн»): аграрная (премодерн) с ее романтическим этноцентризмом (национализмом); индустриальная (модерн) с ее империалистическими пенитенциарными претензиями дисциплинарных обществ (панамериканизм); постиндустриальная (постмодерн), механизмы которой: плюральность, релятивность, рассеянность, фрагментация, автономизация – используются «новым средневековьем» как стратегии завоевания постапокалиптического мира «жидкостной современности» (liquid modernity) (Bauman Z., 2008). Центр власти в неототалитарном дискурсе переходит от локальных политиков отдельных национальных государств к глобальному виртуальному пространству.

Находясь на стыке социальных волн, новый тоталитаризм приобретает, как и война, порожденная им по всему миру, гибридные формы. Он становится более гибким, расплывчатым, симулятивным и синкретичным, маскируясь под демократическими декларациями. В зависимости от тяготения к тому или иному волновому цивилизационному типу новый тоталитаризм обычно подразделяют на: радикальный, связанный с первой волной (национализм, религиозный фундаментализм, экстремизм); этатический, государственный, связанный со второй волной (моноэтническая унитарность, шовинизм) и глобально-либеральный (империализм, транснационализм). Соответственно, определяются региональные источники нового тоталитаризма: США

и страны третьего мира. В каждом случае новый тоталитаризм предполагает редукцию общечеловеческих ценностей в корпоративные, которые провозглашаются базовыми (синдром «общих своих»). Новый тоталитаризм поддерживается при помощи асимметрической кредитной зависимости центра и периферии и несправедливого распределения ресурсов через международный валютный фонд. Распространенной социальной практикой нового тоталитаризма является разжигание реваншистских этнических движений в странах бывшего социалистического лагеря и в развивающихся странах с целью распространения свободного рынка. Механизмом воплощения этой практики является создание гибридных культурных форм и границ стран, размывание и диффузия (феномен так называемых серых зон). При новом тоталитаризме имеет место тенденция манипулирования массами через СМИ при сохранении внешне демократического порядка, маскирующего желание доминанции.

Гибридность нового тоталитаризма, его размытость и неуловимость для классических позитивных определений затрудняют процесс его диагностирования. Сложность идентификации нового тоталитаризма заключается в том, что культурное сознание в XXI веке все же остается вполне классическим и «распознает» тоталитаризм по его типичным современным признакам: наличие харизматического вождя и единой партии в национальном государстве, сам статус которого в настоящее время подвергается деконструкции. Не учитывается, что природа тоталитарного в обществе, которое прошло искус постмодерном, мультикультурализмом и информационным бумом, существенно трансформируется. Неизменной остается главная особенность тоталитарного мышления – неспособность воспринимать Другого, восприятия несогласия (критики) как измены.

Мы предлагаем рассмотреть неототалитаризм, его классические, унаследованные от традиционных форм тотальности и неклассические, связанные с информационным обществом симптомы на основании методологии структурного психоанализа, дополненной методиками феноменологического описания, герменевтической критики и деконструкции. Тоталитаризм в неклассической философии и *cultural studies* можно рассматривать как духовную установку, за которой скрывается регистр реального (бессознательное), именно – определенный религиозный архетип. Его корни прослеживаются не только в глубинах травматической народной памяти, в пространстве фрустрации, где содержится вытесненная фигура Тени, но и в основанных на сакральном традиционных нормах, которые передаются по наследству по вертикальной аксиологической эстафете. Значит ли это, что человеческая установка на тоталитарное является чем-то бытийным, что имеет онтологические адекватности и выводится непосредственно из метафизики? S. Žižek (2009) сформулировал принцип «Мы не знаем, что мы знаем» в противовес классической европейской формуле Сократа о границах познания: «Я знаю, что я не знаю» – как своего рода формулу ужасов, готовых в любой момент «прорваться» наружу в сферы идентичности и культуры.

Мы не рискуем утверждать ни бытийную сущность тоталитарного как эманации реального, ни его чисто культурную природу как феноменологического смысла, поскольку данный вопрос не верифицируется. Отметим лишь

одно: независимо от того, укоренен ли «вечный фашизм» (Есо U., 2003) в онтологических глубинах психики, или он представляет собой привнесенный извне миф империи, «метафизическая вина» за него (Jaspers K., 1991) в любом случае присутствует и в любом случае несет амбивалентный космополитический и одновременно этноцентрический характер. Вина за жизнь Другого спаивает нации между собой, выводя их на уровень экзистенции, трансценденции и «философской веры», но переживается каждым субъектом межнациональных отношений отдельно именно благодаря трагическому осознанию принадлежности к «телу» своей нации, в коллективном бессознательном которого содержится нечто демоническое, Тень, или, выражаясь репликой персонажа из кинофильма «Матрица», – «пустыня реального». Подобная «негативная» национальная самоидентификация, когда человек констатирует свою принадлежность к народу, но не согласен с его этническим нарративом, – и есть экзистенциальная вина за тоталитаризм. Испытывая ее, субъект демонстрирует готовность нести ответственность перед всем человечеством даже за преступления, которые лично он не совершал. Экзистенциальная вина – это положительный результат психоанализа, примененного к собственному внутреннему миру с целью расчистки его от идеологического психоза и тоталитарных установок на ненависть, ксенофобию, господство и насилие.

Опираясь на сокрушительную критику идеологии Ф. Ницше (Nietzsche F.W., 2005), представители теорий постиндустриального общества заявляли в свое время об эпохе так называемого конца идеологии (имея в виду конец тотальности как таковой) – «the end of ideology», но их заявления оказались очередной утопией. Позитивистская мечта о плюральной постмодерной «меритократии», если и реализовалась, то лишь частично и только в развитых странах Запада, которые сами стали источником новой тотальности. Радикальная активность восточно-славянских обществ и государств исламского мира свидетельствует о колоссальном реванше идеологий.

Поскольку идеология как система представлений социально-этического сорта основана на социальной мифологии, которая в свою очередь апеллирует к сфере мифоритуальных архетипов, нельзя обойти вниманием важность личностного и трансперсонального культурно-психологического фактора в реконструкции идеологических систем. В романе «Невыносимая легкость бытия» М. Кундера (2014) писал о глубинной нравственной ущербности мира, в котором ностальгия по детству порождает симпатию к откровенному злу (Гитлер), если это зло связано с понятием утраченной юности, ведь и Адольф когда-то «был маленьким» (с. 10). Ностальгическое чувство, макрокопией которого является чувство религиозной тоски по Золотому Веку («вечное возвращение»), с точки зрения структурного психоанализа представляет собой онтологическую нехватку, рождающую вечное желание вернуть потерянную полноту и гармонию бытия. Именно на онтологическую нехватку, на дефицит бытийности в субъекте, вызванный персональным или социальным кризисом, полагается тоталитаризм, который осуществляет компенсацию травмы, заполнение пустоты и замещение подлинности своими мессианскими символами. Тотальное всегда – психотерапевтично: оно создает иллюзию самоуспокоения, бегства, защиты, «обволакивая» субъекта воображаемой символической

оболочкой-коконом (хорой), дающей ложное чувство опоры, принадлежности к солидарной группе единомышленников, к целому, к традиционным основам (даже если последние весьма искажены). Это доказывает, что постепенное вызревание тоталитаризма в сознании опирается, как минимум, на две позиции: эзотерическую (мистификация традиции как бытийного ядра субъекта) и индивидуально-психологическую («зияние» в сознании личности, стремящейся восстановить внутреннюю целостность и вернуть утраченную гармонию).

Философская, культурологическая и психоаналитическая история исследования тоталитарного мышления в XX и XXI веках – довольно длительная, учитывая негативный опыт истории XX века. В результате анализа указанной историографии нами был выделен ряд базовых черт тоталитарности. Классические признаки тоталитарных идеологий, выраженные в социализированных телесных образах массовости, можно раскрыть на примере компаративного анализа режимов сталинизма и гитлеризма посредством феноменологического описания достижений тоталитарной эстетики.

Основой классического тоталитаризма является целостное однородное массовое сознание – «человек-масса», или «Мы – объект». Относительно Мы-объекта творческая личность всегда предстает героем-одиночкой. Если в классическом обществе тотального контроля массовым сознанием руководит иерархическая властная вертикаль, регулирующая универсальное социальное общение, то современный тоталитаризм инкорпорирован в информационные технологии на горизонтальном уровне. Ложь допускается как инструмент народного блага. И если в классическом обществе источником блага являлся центр – Символический Отец, то в неклассическом обществе «винтики» социальной мегамшины – отдельные индивиды – децентрализованы и рассеяны, и каждый из них претендует на роль центра контроля. Закон как универсальная сила легитимации сменяется на реставрированный и искаженный народный обычай. Меняется и роль диссидента – инакомыслящей личности – в новом тоталитаризме. В классическом тоталитаризме диссидент мог противостоять интеллектуализации зла и подчинению искусства власти через субкультуру протеста – нонконформизм, собирая вокруг себя небольшое количество людей. В неклассической ситуации, где централизованное руководство, цензура СМИ, партия, гипертрофированный государственный аппарат уже не играют былой роли, само моделирование субкультуры протеста становится проблемным, ибо нет четко определенной системы, которой следует противостоять. Контроль находится везде и нигде одновременно. Фашизоидный индивид (человек-масса, винтик), ранее подчиненный власти, против которой восставали диссиденты, ставя себя в неоднозначное соотношение с народными массами, ныне сам стал властью. Все его качества: самоуверенность и испуганность, высокомерие и конформизм, бесцеремонность и посредственность, догматизм мышления и неприязнь к «интеллигенции», пиетет перед авторитетом и ксенофобия, мифологическая стереотипность и одновременная тотальная рациональность – становятся качествами не исполнителя, а руководителя. Не массовыми, а элитарными качествами. Происходит постепенное вращение массовой культуры в тело элитарной, в результате чего масса героизирует свое предназначение и реализует его через новые компьютерные технологии, новые виды медиа. Масса устанавливает

для себя жесткие нормативы самоограничения, действуя, как один большой вождь. Масса провозглашает философию и искусство орудием идеологии; монополизирует культурную жизнь; создает трендовые стили; борется со всеми проявлениями флуктуаций. В тоталитарном целом нет аполитичных самоценных идентичностей и недифференцированных произведений как «вещей в себе»: подобные ноумены караются еще жестче, чем полярно противоположные («вражеские»), потому что дуальный мир не терпит гибридов (Третьего), нарушающих пропагандистский закон поляризации. Если противник необходим для поддержки символического поля борьбы, за счет которой выживает тоталитарная идеология, то Третий, способный преодолеть борьбу, тем самым подрывает основы существования и механизмы работы идеологии. Отсюда – установка на вытеснение Иного как любого отличного, формирующая однородность и непроницаемость тоталитарной хоры.

Главными эстетическими особенностями классического тоталитаризма признаны мифологический реализм как способ выражения мифа в миметической форме; монументализм архитектурных форм и социализированных милитарных образов массовости и маскулинности; классицизм как выражение вынужденной аполлоновской гармонии целого из гетерогенных элементов; народность и фольклоризм, связанные с культурами физической силы, коллективизма, здорового образа жизни, неприятием богемности как «дегенеративности»; героизм как популистский элитаризм, связанный с героизацией массы, одухотворением мещанства и моделированием китчевого образа солдатского тела как выражения сакрального; отсутствие дистинкции между обороной и нападением, вследствие чего освободительная романтика революции становится способом выражения идеи насилия и консервации. Сочетание в тоталитарной идеологии противоположных тенденций к современному урбанизму (либерализму, авангарду) и к мифологической архаике, консерватизму, традиционализму способствовало тому, что разные ученые приходили к разным выводам относительно исторических истоков тоталитаризма. Так, У. Есо (2003) считал, что «вечный фашизм» питается из древних оргиастических культов и потому нетерпим к рационализму модерна. Т. Adorno и М. Horkheimer (1997) выводили Освенцим из гуманизма, то есть полагали, что технократические тенденции эпохи Просвещения с ее традициями завоевания и потребления (миф об Одиссее) привели к вырождению утилитаризма в геноцид. Потому они призывали к возрождению магии как альтернативы фашизоидного либерализма. На самом деле между рефлексиями представителей Франкфуртской школы и рефлексиями итальянского постмодерниста, при всей разнице левых и либеральных взглядов авторов этих суждений, нет противоречия. Тоталитаризм, установленный в результате революций, питался из инновационной и одновременно разрушительной энергии новой эстетической парадигмы, поднимая авангардистов на гребень общественных преобразований. Когда же новый символический порядок был установлен, понадобилась его консервация, что породило свертывание авангарда, репрессии и возвращение к традициям фольклоризма и классики. Налицо – процесс использования потенциала творческой протестности в политической революции с дальнейшим ее уничтожением по мере трансформации революции в диктатуру. В школе (Badiou A., 2003) подобное утилизирование носит название

«стерилизация блуждающего избытка (лишнего элемента)». Смена модерно-либерально-авангардного периода на консервативно-традиционалистский составляет диалектическую матрицу развития тоталитаризма. Рассмотрим этот аспект подробнее.

Взаимная включенность друг в друга революции и диктатуры в психоаналитическом ракурсе реализуется через идею номинации первичного иррационального протеста. Последний фиксирует наличие в любой революции стихийного начала в виде блуждающего избытка смыслов, носителями которых являются пассионарные представители населения, не обозначенные ни одним идеологическим дискурсом. Их может быть мало или много, номинация (перехват) первичного протеста может происходить сразу или в динамике составлять последовательные стадии революционных событий, но именно иррациональный протест как проявление вакуума в символической структуре объясняет не только смену либерального периода на консервативный в революционных событиях классического и бархатного типа (в России 1917 года или в Украине 2013–2014 годов), но также и момент использования либералами консервативных сил и момент изначальной включенности в либеральные события правого ядра, которое позднее составит основу тоталитарного сознания.

Тоталитарное или неототалитарное сознание растет из метафизики и диалектики революционного события, в котором идея свободы трансформируется в идею господства. Фундаментальным символом современного угнетения является категория конечности времени. Это восприятие протеста вне динамики прошлого, настоящего и будущего, вне каузальности исторических событий, вне коллективной памяти. Забвение динамики приводит к формированию в пределах революционного пространства статической оппозиции воображаемых обществ свободы (Запад) и деспотии (Восток). В пределах этой оппозиции начинает работать мифологическая рекламная память, которая моделируется пропагандой. Время пропаганды – неподвижно. Оно не имеет становления, темпоральности, процессуальности. Оно замирает в вечном настоящем и воплощается в оккупации пространства площади. На знаковом уровне ему соответствует негативная программа действий («Мы не хотим так») без сколько-нибудь внятной перспективы развития «свободы от» в «свободу для». Носители иррационального протеста репрезентуют первичное бытие. Бытие является пустым и множественным одновременно, выражая экспрессию протеста творчества против традиций. Творчество как основа любой революции (не только политической, но, в первую очередь, духовной) представляет собой истину – метафизическую данность, которая относится к действительности, но не считается ею, то есть присутствует, но не представлена (не обозначена, не номинирована, не «схвачена»): *present but not represented*. Аура инновации, исходящая от творчества, равно как и аура иррационального протеста, исходящая от творческих пассионариев, не может быть вещественно доказуема, потому что она предшествует любой символизации и семиотизации, следовательно, она относится к сфере Реального, бессознательного и скрытого. Избыток как знак проблемы противится наименованию со стороны мира. Но его номинация происходит очень быстро – настолько быстро, что неполитические силы (философы, писатели, режиссеры) не успе-

вают подобрать для этих истинных событий подходящие концептуальные имена, такие же плюральные. Релятивные и неоднозначные, как и сами события, соответствующие природе самих событий, а не мотивам тех, кто пытается их использовать.

Участники площади составляют пустоту – ценностный вакуум негации, который тут же (мы намеренно сокращаем динамику перехвата, потому что последний может осуществляться практически сразу) подвергается интерпретирующему вмешательству (номинации) – обозначиванию со стороны политических сил, желающих этот протест использовать. Например, во время бархатных революций таких сил, как правило, существует три: консерваторы, либералы и радикалы. Первые воплощают предыдущую государственную машину. Вторые связаны с миром западного *modernity*, который и является инициатором и движущей силой революции. Третьи представляют собой фундаментальный правый рычаг силы в руках либералов. Стихийное выражение протеста против консерватизма трансформируется в либеральный бунт. Либеральный бунт милитаризируется и становится правым реваншем: радикалы, с одной стороны, используются либералами, а с другой – конкурируют с ними. После победы радикализма (в виде этнического сепаратизма, например) часть разочарованных либералов пытается вернуться к консерваторам, ощущая себя разочарованными, а другая часть продолжает сотрудничать с правыми силами. Эскалация правого насилия может привести либо к консервативному реваншу (не менее жестокому, чем репрессии правых), либо к смене либералами проекта на более умеренный. Замкнутый круг «консерватизм – либерализм – национализм – консерватизм» (в макромасштабе) или «либерализм – национализм – либерализм» (в микромасштабе) образует движение по замкнутому порочному кругу («стерилизация конечности»), выхода из которого нет вследствие отсутствия новой позитивной программы действий, могущей стать компромиссом для всех сил, задействованных в конфликте. Суть такой системы ценностей должна состоять в ориентации не на смену парадигмы консерваторов (традиционализм), или парадигмы либералов (консюмеризм), или радикалов (национализм), ибо все три силы останутся прежними. Необходимо устранение базового конфликта современного мира, который и провоцирует революции, а за ними тоталитарные реванши, – установки на исключительность Запада. Необходим новый (нелиберальный) тип *modernity*, основанный не на американизме, а на антиглобализме, на широких диалогах Европы и Азии. Подобная антиглобалистская или альтерглобалистская программа еще должна быть прописана, и прописана именно учеными, а не политиками, философами, способными обозначить иррациональный протест до его перехвата со стороны глобалистов, – но это выходит за пределы феноменологического дискурса психоанализа тотальности, который мы избрали доминантой нашего исследования.

После номинации иррационального протеста наступает тоталитарная символическая реальность, которая начинает апробацию различных культурных стилей на соответствие властному дискурсу. Естественно, что побеждает самый ретроградный из них. Представители консерватизма репрессировывают любое Инаковое, в роли которого оказывается сам иррациональный протест («революция пожирает своих детей»). Более того: тоталитаризм уничтожает



культуру как выражение эстетического бунта, не подвергающегося обозначению. В онтологическом смысле слова культурное творчество становится Чужим и обязано превратиться в «вещь» – функциональный придаток «нового порядка» политики, который зиждется на оправдательной силе национальных традиций, настроении радости и здорового образа жизни. Поэтому сам феномен страдания, экзистенциальной боли становится Чужим и подвергается зачистке. Тоталитарное сознание интегрируется исключительно на основании дуальности черно-белых плакатных образов (свои – чужие): язык тоталитаризма не терпит диалектов и гибридов (Третьего). Дуализм формирует самый травматический из способов идентификации – объединение на основании мазохистского смакования собственной жертвы, которое побуждает к садистскому желанию мести «врагу». Солидаризация через ненависть – это жертвы, требующие новых жертв, бесконечная война, служение не столько структуре своей страны, сколько борьба со структурой другой.

Тоталитарное сознание представляет собой абсолютно гладкую замкнутую поверхность без шероховатостей, основанную на принудительной гармонии элементов в состоянии жестокого радостного единодушия. Основой последнего является ситуация, подобная синтезу искусств в авангардизме, но в извращенной форме: транскультурное начало в тотальном проявляет себя через взаимную согласованность политики и эстетики. Происходит не только политизация эстетики, но и эстетизация политики: дискурс власти воспринимается как произведение искусства, которое воспринимается чувственно, что в условиях постмодерна позволяет говорить о транссексуальном характере власти как биовласти, или власти-спектакле (власти-зрелище). Сексуальность тоталитарной власти в неототалитаризме проявляется как общество всеобщего наблюдения, где каждый субъект является наблюдающим и наблюдаемым одновременно по формуле: «Посмотрите на меня, который смотрит на...». Наложение наблюдений в геометрической прогрессии формирует тотальную прозрачность горизонтального контроля массы. Люди контролируют друг друга в состоянии самоцензуры не менее эффективно, чем если бы их контролировал исключительно иерархический центр власти. Это напрямую подводит нас к изучению бессознательных истоков тоталитарного.

Тоталитарная идеология представляет собой совокупность противоречивых нарративов, которые восходят к повседневной практике кастрированного субъекта – человека, который оказался в конфликтной травматической ситуации опыта. Тотальное – целое – приходит как реакция на отсутствие цельности и на бесцельность человеческого бытия. Ключевая для современной гуманитаристики идея Ж. Ласан (2008) – это концепт о первоначально расколотом субъекте, лишенном эссенциалистских характеристик: целостности, сущности, происхождения, непрерывности и, как следствие, – идентичности. Человек, которому не хватает, и человек, которого не хватает. Он – трещина. Он, как будто всегда, – «не весь». Данный субъект – человек без истории, как без микро-, так и без макроистории, фрустрированное существо, лишенное метанарративов, малых нарративов и онтологического стержня, – не является автономной личностью и постоянно переживает бытийную «нехватку» (кастрацию), компенсируемую за счет Воображаемого. Воображаемое – набор иллюзорных историй, которые рассказывает такой человек самому себе, –

«лечит» пустоты при помощи Символического – мифологем и знаков культуры, формирующий идеологические «сшивки». Субъект в состоянии кастрации – потенциальный носитель тоталитарного сознания. Он переживает двойной раскол: между своим Я и его многочисленными зеркалами на уровне Воображаемого, когда в противостояние приходят плюральные имиджи и двойники, его «сапфические» «братья» и «сестры», вызывающие смеси ненависти, зависти, конкурентной раздражительности, нежности, притяжения и отталкивания, «отвращения» (физиологической брезгливости) и нуминозной очарованности. Также конфликт происходит между Я и духовными смыслами на уровне символического дискурса культуры (большого Другого). Таким образом, кастрированное Я испытывает двойное чувство неудовлетворенности вследствие давления на него факторов снизу (бессознательное, витальное) и факторов сверху (культура, мораль, религия, сакральное), что позволяет считать такое расколотое существо героем двух трагедий: биологической фрейдовской («сублимация») и трансцендентальной бердяевской («свобода творчества»).

Истоки утраченной целостности следует искать в регистре Реального – иными словами, в метафизическом бытии, в чем-то довербальном, что не может быть объективировано в образах и символах, ибо, как справедливо говорил L. Wittgenstein (2005), «Мистики правы, но правота их не может быть высказана: она противоречит грамматике» (с. 33). В диалогической философии такая «правота» (онтологическая наполненность) именуется «чувством целого» или тем, что К. Jaspers называл приближением к «оси», то есть состоянием «светлой немоты». Истина, плавающая в паузах между репликами, указывает на утраченное бытие Dasein. Естественно, что субъектом овладевает желание преодолеть разрывы в дискурсе (заполнить неловкие паузы) – желание на уровне речи и одновременно – чистое желание вернуть целостность, скрытую в Реальном, на уровне бессознательного. Но сделать это можно, только структурируя язык. Игра с этим первичным желанием лишает субъекта линейной структуры, превращая его в стихийно-ассоциативный серийный и симулятивный хаос многозначностей, подобный постмодерному письму. Можно сказать, что подобный индивид является культурным шизоидом. Шизоидная личность в состоянии раскола, испытывая двойной конфликт, строит свое существование как двойную историю: воображаемую (нарратив сновидения, бреда, идеологического психоза), смоделированную под влиянием «зеркала» (имаго), и реальную (нарратив жизни), давящую на героя через скрытое, но прорывающееся бессознательное, воплощенное в Символическом и проявляемое через недоговорки, мигания знаков и другие симптомы.

Тяга к утраченному бытию содержит культурную патологию, выразителем которой является фантазм. Кастрированный человек готов отождествлять себя с любыми персонажами фантазма: метафизическим событием, героем фильма, политиком. Человек без истории находится в наблюдательном состоянии, подобном состоянию зрителя (вуайериста) перед экраном («фильмическое состояние»): он смотрит фильм о самом себе, одновременно отождествляя себя с телом в кресле, позицией камеры и изображением, как бы «зависая» в пространстве между ними. Вуайерист – единственная роль, которую может предложить гражданину неототалитарное общество спектакля.

Вуайерист удерживает одновременно как актуальные свои проекции, осуществляя процедуру *suture* («сшивка»), – в медицине это обозначает одновременно и сам шов, и наложение его на рану. Сшивание привязывает кастрированного субъекта к языковым практикам, обеспечивая инкультурацию – вхождение человека в структуру Символического, которым замещается нехватка реального. Так, при осуществлении инкультурации недостаток личной идентичности компенсируется через коллективную: ощущение чувства целого и бытия себя как «части» производит психотерапевтический эффект. Становится неважно, какими персональными качествами и компетенциями обладает субъект: идеологическое целое покрывает все нехватки и комплексы. И не важно, каким образом происходит идеологизация: через просмотр сериала, или ролика в интернете, или через стояние на мифологическом пространстве площади. Вуайерист сшивается со своим имиджем. Между собой спаиваются Реальное и Воображаемое, Воображаемое и Символическое, Символическое и Реальное. Эти регистры циклично замыкаются в модели присвоенной идентичности. Сшивки не дают субъекту впасть в бездну травматического бессознательного и защищает от психозов. Как только субъект начинает ощущать беспокойство от недостатка идентичности («зияние»), он тут же замещает недостающий элемент соответствующим знаком, образуя устойчивый баланс-спайку, где все компоненты соответствуют центральному нарративу и ссылаются друг на друга по принципу определения А через Б и определения Б через А. Без этой взаимной тавтологической заикленности тоталитарная идеология не работает, ибо она легитимирует парадоксы и самоповторы. Одним из ярчайших проявлений психотической тавтологии является так называемая пустая речь, выполняющая фатические (Роман Якобсон) функции, связанные с поддержкой разговора ради разговора, что сейчас особенно заметно на примере политических бесед пользователей в социальных сетях.

Процедура сшивки переживается субъектом как момент интерпелляции (главный концепт творчества L. Althusser (1976)) – радостного узнавания человеком близости той или иной идеологии, которая окликает его. Этот эффект подобен дежавю – ощущению, что с человеком это уже случилось («в прошлой жизни»), что это и есть подлинный он. Коротко это можно выразить в следующем утверждении: «Нет ничего удивительного, что я обращаюсь к тебе, как к пролетарию, ведь ты и есть пролетарий». Создается ощущение вхождения в идеологию как возвращения в самость, и в этом нет ничего удивительного: знаки Символического, которые замещают недостающие элементы идентичности, напрямую связаны с потребностями бессознательного, ведь, по J. Lacan (2008), бессознательное структурировано, как язык, а язык есть его носитель.

Как результат сшивки тоталитарная идеология содержит одну важную особенность. Речь идет о вписанном в ее поле некоем узаконенном парадоксе. С одной стороны, идеология согласована и не имеет трещин, а с другой стороны, она противоречива и вся строится на несовместимых вещах (евреи как большевики и евреи как буржуа в идеологии нацизма; темнокожие как невинные дети и сексуальные хищники в идеологии белого расизма; мигранты как лентяи и мигранты как похитители рабочих мест в либерал-демократии; космополитическая евроинтеграция и этническое безумие нации в украинской

идеологии). Наиболее ярким современным примером идеологического парадокса можно считать так называемое пребывание в негативном, или синдром ложного выбора в институтах либерал-демократии: выбора между либерализмом и национализмом. Либеральные лидеры главным образом принимают участие в правом национализме, используя его и спровоцированную им войну как инструмент поддержки свободного рынка и отвлечения масс от реальных социальных проблем обнищания в условиях кредитной зависимости. Когда национализм исчерпывает свой террористический потенциал, а масса напугана уже достаточно, последней в качестве альтернативы либерализм предлагает себя же в виде источника дефашизации страны. Это движение по замкнутому кругу от либералов к националистам и назад является типичным признаком доктрины шока в условиях капитализма катастроф (Klein N., 2009) и формирует в идеологической спайке узаконенное противоречие-симптом. Противоречивость идеологии воспринимается ее адептами как нечто само собой разумеющееся: идеология вырастает из травмы и продолжает нести след травмированного бытия, замещая его. Ее ущербность – это отражение ущербности травматической реальности и ее базовых конфликтов, которые так и остались нерешенными. Вернуть их на свое место может психоаналитик, осуществляющий деконструкцию тоталитарного мышления.

Более всего тавтологически замкнутое на себя шаблонное идеологическое мышление «боится» обратной процедуры – расшивки. Расшивка начинается с состояния отчуждения – умения взглянуть на привычные вещи под непривычным ракурсом, осознавая тревожные симптомы за обыденными вещами. Подобное состояние нередко возникает вследствие встречи с Другим, который перестает восприниматься как Чужой (исходя из черно-белой матрицы пропаганды), а начинает по каким-либо причинам интерпретироваться как Иное, вызывая уважение и сочувствие. Нередко состояние одухотворения Чужого и выработки к нему открытого отношения достигается мгновенно в религии или же через искусство, которое в состоянии трансгрессии показывает необычные комбинации привычных предметов. Искусство выводит за пределы дуального царства убеждений своих и чужих в пространство эстетического приятия Другого как Иного. Отсюда – непреходящая роль современного искусства как инструмента критики культурных патологий. Расшивка вызывает невроз. Она может начаться когда угодно и как угодно, как правило, с ключевого слова, обнаруживающего разрыв в дискурсе. Носителем этого слова очень часто является трикстер – герой-провокаатор, в роли которого может выступать режиссер, психоаналитик, философ, художник, писатель. Отсюда – вечный синдром общества «казнить Сократа». Вторжение в спайку является возвращением вытесненного и забытого бытия, составляющего вторую сторону ленты Мёбиуса, – травматической реальности, о которой человек желал бы знать все и одновременно не желал бы знать ничего, ибо в такой ленте связаны милосердие и насилие, сон и явь, нежность и агрессия, или, как образно говорят представители психоаналитической эстетики кино, «блондинка и брюнетка», «помада и кровь» (Herzogenrath B., 2009). Идеологическая политика памяти, создающая рекламную (квазиисторическую) память, направлена на сшивку – сокрытие от человека подлинной исторической коллективной памяти со всеми ее травматическими раздражительными

моментами, которые не соответствуют избранному курсу власти. Деконструкция в расшивании имеет двойной характер и отличается имманентной диалектикой: сначала расшивается первый тезис, за которым обнаруживается некий подтекст, потом сомнению подвергается сам подтекст, под которым обнаруживается еще один слой, возвращающий нас к изначальному тезису по принципу «утверждение – отрицание утверждения – отрицание отрицания». Это значит, что идеология не может представлять собой просто выдуманную историю, за которой скрываются имущественные интересы власти. Если бы это было так, то люди, слушая критику идеологии, переставали бы ей верить и совершать идеологически окрашенные поступки. Но в том-то и дело, что они знают и все равно поступают так. И это, пожалуй, самое неразрешимое и загадочное в критике тоталитаризма.

Итак, почему люди, даже зная, все равно ведут себя так, как они ведут? Мы задаем важнейший вопрос об онтологическом статусе идеологии. Считать ли ее чем-то бытийным, заложенным в глубинные основы нашего существования, в нашу самость, которая ущербна от своей природы, и потому рождаются ущербные идеологии? Или же считать идеологию симулякр, компенсирующим нехватку самости через выдуманную историю? Чего больше в идеологии – Воображаемого или Символического, непосредственно апеллирующего к Бессознательному, к Реальному? Очень часто, наблюдая за человеком до сшивки и после нее, мы можем фиксировать радикальный разрыв между индивидом вне идеологии и индивидом, состоявшимся как ее субъект. Человеку начинает казаться, что он всегда был таким, что интерпелляция открыла ему его самость (а не компенсировала ее). Зачастую один и тот же человек одновременно выступает и как тело, и как субъект идеологии, например ученый-теоретик, который феноменологически и критически разбирает идеологические системы, вне своего академического дискурса демонстрирует почти идеологическую одержимость. Он как будто «впадает» в это состояние, что позволяет говорить о воздействии на психику архетипа. Между человеком как обычным живым существом и человеком как субъектом идеологии простирается пропасть, не подвергающаяся логическому анализу. Именно поэтому мы предлагаем не относиться к тоталитарной идеологии как к чему-то легкому и надуманному, как к чистой фантазии Воображаемого. Марксистский подход к идеологии как к ложной форме общественного сознания или подход к идеологии как к симулякру (Baudrillard J., 2000) фиксирует только одну сторону идеологии, один нарратив – воображаемый нарратив бреда, фигурирующий как «симптом». Симптом представляет собой защитный экран массового сознания, символическую оболочку (хору), которую выстраивает субъект, чтобы дистанцироваться от травматической реальности. В симптоме всегда заложена упомянутая нами выше легитимированная трещина, узаконенный парадокс, противоречие, которое воспринимается как неизбежное и с которого начинает расшивку психоаналитик. Откуда рождается симптом? После осуществления интерпелляции вслед за идеологическим сознанием шлейфом тянется блуждающий избыток в виде следа чистой психики, в виде той части потерянной или вытесненной самости, которая не поддается номинации. Эта необозначенная зона провоцирует замыкания знаков. Самое простое, что может сделать врач, – это работать с симптомами. Такое отношение

к идеологии называется «киническим» (Žižek S., 1999). Критик идеологии пытается показать больному, что ему внушают выдуманные истории, осуществляя за ними дележ власти и капитала. Не удивительно, что подобная работа не приводит к полному исцелению. Наоборот, она может вызывать обратный эффект еще большего самоцензурирования. Недаром мысль Сократа о морально очищающей роли знания, положенная в основу картины мира эпохи Просвещения, провозглашается у F.W. Nietzsche и в постмодернизме наивной.

Более зрелой психоаналитической моделью отношения к идеологии является цинизм. Циничный психоаналитик признает в идеологии не только симптом (воображаемую историю-заслон), но и фантазм – символическую историю, которая рождается из самых глубин бессознательного бытия и фиксирует его ущербность в знаках. Идеология не только маскирует бытие, но и поддерживает его вследствие контакта Воображаемого с Символическим. Жест иронического разрушения пафоса идеологии через сдирание масок («А король-то голый!») оказывается беспомощным, ибо маска слишком плотно приросла к лицу, иными словами – патетическая культура – бытийна («Король гол под платьем»). Единственный вывод, к которому может прийти психоаналитик, разложив на части принудительную гармонию элементов в тоталитарной картине мира, – это признать, что болезнь неизлечима и составляет саму суть ущербного бытия – бытия травмы, бытия кастрации, бытия утраты Реального. Соглашаясь с S. Žižek в том, что подобный цинизм вводит в дискурс идеологическое юмор, а юмор означает скорее смирение с идеологией, нежели борьбу с ней (Žižek S., 1999), мы все же отметим, что признание идеологии структурной характеристикой самого бытия как трагедии делает этот юмор трагичным: симптому следуют, не понимая правды, фантазму следуют сознательно, понимая его отличие от социальной действительности и подчиняясь исключительно голосу бессознательного. В таком случае общественные события, которые противоречат идеологии, воспринимаются носителями тоталитарного сознания как «неизбежная потеря», и этим самым они вписываются в идеологическую картину действительности.

Синдром так называемой уже-вписанности в идеологии – очень широк и работает по нескольким направлениям: перехват любого протеста политическими силами; включение любого протеста как предусмотренного в установленную систему реальности; легитимация противоречий в идеологическом коконе (симптомов) и восприятие несовместимых вещей как естественных без логических объяснений; оправдание фантазмов как средства защиты от хаоса и толеризация любых недостатков общества в условиях господства данной идеологии как «неизбежных потерь». Ярчайшим примером действия циничного юмора в фантазме является толеризация носителями идеологии либерализма преступлений националистов. Либералы прекрасно знают о том, что националисты нарушают права человека, но предпочитают «не замечать» этого: не только потому, что на внешнем уровне геополитики либерализм использует национализм как средство удержания интересов свободного рынка. Это происходит потому, что в бессознательном либерального дискурса содержится инстинкт власти, почти экстремистская склонность насаждать мир и свободу методами несвободы и войны, ради реализации которой

либерал-демократия готова принять этнонациональную ущербность фундаментализма. В этом состоит бытийный ужас идеологии как феномена, который произрастает не только из социальной реальности (симптом), но и из глубин архаики нашей психики и ее тайных желаний (фантазм).

Показать неразрывную связь благонравной лицевой стороны спайки и ужасающей изнанки, внешнего и внутреннего, Реального и Воображаемого, одновременно находясь снаружи и внутри субъектности, на грани хронотопов, в некоем месте, условно названном «атопия», – это состояние Чужого (Waldenfels B., 1999). В роли такого Чужого выступает герой-посредник (Трикстер). Подобно художнику или врачу, Трикстер расширяет регистры и провоцирует истерию, диагностируя общественные и личные болезни. Он срывает швы со спайки Символического и Воображаемого, оголяя скрытое за ними Реальное. Он лишает человека согласованной иллюзии его самообъяснений и самооправданий, вызывая ощущение потери опоры, утраты стержня, дезориентации. Когда у пациента-вуайериста рушится с таким трудом выстроенная целостная картина мира с распределением символических статусов и ролей в игре структур, сколь бы патологична и симулятивна такая картина мира ни была, человек начинает проявлять симптомы агрессии, невроза, психоза. Пациент противится исцелению, он не хочет знать, что страдает, что является источником его страдания, как избавиться от страданий и пережить шок от потери воображаемой истории, не исцеляющей страдание, но лишь приглушающей его эффекты, подобно паллиативной терапии в онкологии. Вопрос состоит в том, имеет ли право диагност лишать пациента утешительной социальной патологии? Если религия является наркотиком и наркотик необходим для успокоения, этот наркотик следует больному дать. С другой стороны, длительное употребление снотворных или обезболивающих средств при смертельно опасной болезни может быть альтернативой хирургическому вмешательству, благодаря которому фатальные последствия могут быть предотвращены уже на ранних стадиях болезни. Медицинские аллюзии демонстрируют важность работы психоаналитика или художника с тоталитарным и неототалитарным обществом, если мы хотим добиться его деидеологизации и дефашизации. Эффект всеобщей ненависти не должен пугать или останавливать. Каждый философ, поэт, психоаналитик является Трикстером. Он исследует раздвоение личности, вспарывает швы и вторгается в Символическое, провоцируя прорыв к бытию Реального. Разрыв цепочки обозначающих в галлюциногенном комплексе представлений помогает высветить метафизическую истину, которая не символизируется и не семиотизируется. Именно эта Истина, правда реального, разрушает иллюзии и фантазмы Я-идентичности, используя короткие замыкания знаков. Короткое замыкание проявляется посредством расхождения обозначающего (речи, семиотического плана выражения) и обозначаемого (смысла, семантического плана содержания), в просвете между которыми проглядывает Иное, сконцентрированное в архетипе Монстра, Чужого, Alien. Этим Иным и является долго и тщательно скрываемое дистанцированное бессознательное, вырвавшееся наружу из дионисовских глубин памяти.

Психоаналитический вывод, который мы можем делать, работая с тоталитарным или неототалитарным сознанием, – очень прост. Кастрированный

субъект рождается из языка. Он приходит в мир как носитель травмы в состоянии мучительного зияния (утраты, нехватки, комплексов, недостатка самореализации, забвения подлинных истоков своего бытия и самости). Он стремится быть обозначенным – получить недостающие качества извне. Сделать так, чтобы его заметили, чтобы его сделали предметом наблюдения и признания. Иначе говоря, он стремится доказать самому себе, что существует, получив «бейджик» бытийности (признание, знак отличия) от своего социального окружения. Он ненавидит Другого не за то, что Другой ненавидит его, а за то, что Другой не обращает на него внимания. Кастрированному субъекту опасен равнодушный Другой. Другой просто обязан стать идеальным объектом желания, сапфическим братом или сестрой, имиджем или Большим Отцом, покровителем, другом, врагом. Другой обязан стать двойником Ты. Свое желание быть обозначенным кастрированный субъект притягивания и отталкивания, очарования и отвращения, любви и ненависти, трагического и комического, возвышенного и смешного, чередуя эти состояния, воплощает в игре. Игра с Другим, выраженная через зеркало, экран, виртуальную реальность, политический митинг и т.д., есть не что иное в тоталитарной системе координат, как попытка сделать травматическую реальность нехватки более терпимой, закодировав или перекодировав ее. Самое трудное в этой ситуации состоит в том, что мир Реального, которое потерял человек, и мир фантазмов, с которыми он сшил, компенсируя потери, являются одинаково катастрофическими. Здесь следует уточнить некоторое отличие между понятием Реального и понятием Реальности, которые в психоанализе нередко смешаны. Реальное – это сакральное, первоначальная космическая гармония, утраченная с рождением, потому говорить о возвращении Реального можно скорее в дискурсе богословия, мистики, искусства, но не политического психоанализа. Реальность – это опыт травмы (кастрация), ущербная действительность, возникшая вследствие утраты Реального, – состояние, от которого человек пытается абстрагироваться. Результатом побега из пустоты является сшивка социализации, в результате которой человек обретает комплекс символических прав и обязанностей в системе власти, потребления и рекламы, в системе тоталитарного контроля. Другой в этом процессе постоянно воспринимается по-разному. Это может быть Другой как идеальный персонаж (политический лидер), Другой как источник символических функций (Отец, вождь), Другой как Чужой (тот, кто разрывает сшивку и через трикстерию провоцирует психоз) и равнодушный Другой, отказывающийся в равной степени от ролей двойника, вождя или врача. В каждом из случаев общение с Другим выстраивается не по линии самооценности Другого как независимой сущности, а по линии нивелиации Другого как границы активности Я. Этим тотальность, лежащая в основе тоталитаризма, отличается от диалогического мышления: она репрессивует Другого, даже возлагая на него надежды, и нивелирует его реальную ценность, даже восхищаясь им.

Нивелиация Другого формирует доминирующую идентичность – садистское желание властвовать, основанное на мазохистском упоении собственной жертвой. Мы можем выделить классические свойства доминирующей идентичности, и первым из них будет целостность. Целостность – квазимифологическая оргиастическая формула «единства», которая воспринимается как



символ гармонии на основании групповой идентичности «Мы-объекта» (и противопоставлении его «враждебному» объекту (солидаризация на основании общего врага)). Тотальность как феномен «нового средневековья» является закономерным результатом выхолащивания современных европейских идей рациональности, легитимности знания и «расколдования мира». В массовом сознании происходит реанимация архаических жреческих способов освоения реальности, которые теряют свой сакральный первичный смысл и становятся социально или национально наполненными, выполняя роль механизмов психологической защиты в направлении общества к утопиям нового «Золотого века».

Монизм в сознании часто распадается на дуализм. Как следствие действия целостности возникает бинарность – разделение мира на две неравные по ценности и качеству сферы: «своих» и «чужих», в полярном противостоянии которых любая отличная позиция (статус Третьего) рассматривается как «измена общим идеалам», любая критика приравнивается к «оскорблению достоинства», а любая попытка посредничества, в том числе миротворческая, идентифицируется как «братание с врагом». Если «несогласие – это предательство», то война – это преданность идеалу: она воспринимается не просто как вооруженное противостояние, а как элитарный жест борьбы избранных за свободу и победу. Отсюда – эстетизация войны в категориях философии и художественных образах, к которым прибегали отдельные течения и представители авангарда и европейской классики при тоталитарных режимах Сталина и Гитлера. Отказ от данных романтических и постромантической тенденций в профессиональном искусстве и академической традиции привел к тому, что в США из Германии вынуждены были мигрировать элитарные философы и художники, настроенные против нацизма и фашизма, которые сознательно отказались от мира высокой классики и вынуждены были творить в условиях американской поп-культуры, которая долго казалась «местечковой». Показательно, что на самом деле в тоталитаризме нет ничего эстетически «элитарного»: его антропологической опорой становится мещанин, превращенный в фанатика («восстание масс»), а социальной базой – средний класс в состоянии фрустрации (массовый элитаризм).

Дуализм тоталитарного сознания порождает такие ее особенности, как военный пацифизм (культ войны «за мир»); самодостаточный практицизм (действие ради действия и насмешка над теоретическим); деградация героизма в фанатизм, преобразование «солдата» в «жандарма». В результате – законы фронта переносятся на тыл, стирается грань между способностью умереть за идею и способностью убить ее, защитой и нападением, защитой и карательными санкциями. При таких условиях наступление на права Другого воспринимается как поддержка собственных прав, а стремление доминирования воспринимается как естественное желание «равенства», «свободы», «достоинства».

Еще одной важной особенностью тоталитарного сознания, непосредственно вытекающей из репрессии Другого, является неприязнь к Чужому. Ксенофобия основана на редуцированных механизмах суждения о Другом не как о целом, а по отдельным его чертам, которые идентифицируются как откровенно негативные. Образ врага становится мифомотором для консолида-

ции и создания коллективной травматической памяти, основанной на общих жертвах, побуждающих к новым жертвам (реваншизм). В условиях принесения постоянных жертв укрепляется идея общего «заговора», благодаря которой поиски внешнего врага переносятся на «внутренних врагов» («врагов народа»). Отсюда – цензура, репрессии, гомогенизация культурной среды и создание одномерных моделей культуры Другого, в основе которой лежит принцип отождествления ценностей первого порядка (культура, духовная традиция) и ценностей второго порядка (государство, властная структура). Они сливаются в тоталитарном сознании в единое сакральное (нуминозное, демоническое) тело и становятся предметом эмоционального отношения (ужас, очарование, отвращение, месть).

Поскольку идеология как система представлений социально-этического порядка основана на социальной мифологии, которая, в свою очередь, апеллирует к мифоритальным архетипам, нельзя обойти вниманием важность религиозного фактора в реконструкции идеологических систем. Квазирелигиозность – наличие в основе тоталитарной системы ценностей первичного сакрального ядра. Квазирелигиозность восходит к установкам традиционной мифопоэтической культуры, отражается в фольклористике и подвергается многочисленным трансформациям по мере становления традиционализма как признака любой правой формы тоталитаризма, опирающейся на «базовые» ценности и формирующей «фундаментального» человека. *Religare* (сакральная связь), трансцензус, фундаментальное стремление человека к «Чему-то Большему» (Джеймс В.) – это базовое чувство, удовлетворить которое в секуляризованных обществах призвана именно идеология. Не все ли равно, где встретить утраченное «циничным» постмодерном сакральное: во время таинства причастия, праздника вышиванок или первомайской демонстрации? Так, Бог заменяется кумирами. «Молчаливое большинство» требует по-язычески очевидного эмпирического «чуда» богоявления – от вождя на трибуне до бодрого отряда новых «апостолов» Гитлерюгенда, которые начинают включаться в своеобразную игру на бирже информационных технологий, осуществляя обратное влияние на власть, которая все еще наивно полагает, что управляет ими. «Невинное счастье» выданного за «восстановление исторической справедливости» насилия ничем не отличается от религиозной радости дикаря, кроме того, что в первобытных обществах тотальность была естественным проявлением оргиастического единства, а процедура насилия сопровождалась священными коннотациями Откровения и жертвы, а в современных обществах насилие и тотальность возникают как проявления искусственных идеологов.

Именно в этом моменте символического опустошения и заключается отличие тоталитарного традиционализма от традиционного этнографизма. В тоталитаризме подогнанная под политический паттерн традиция как симуляр сакрального объявляется «единственно правильным» курсом, по которому все другие нивелируются как «враждебные» («левацкие»). Условная синтезированная традиция воспринимается как априорная данность и абсолютная метафизическая истина, известная заранее: остается только осуществить ее толкование, эклектично соединив различные источники – даже если в традиционной системе ценностей они противоречат друг другу (например,

язычество и христианство, арийские культы и космополитизм святых отцов, руны и Нагорная Проповедь).

Отметим сразу, что тоталитарный традиционализм не имеет ничего общего с собственно традицией: рождаясь из просветительского технократизма, он превращает традицию в некий выхолощенный симулякр, вещь, символический инструмент для закрепления современной системы отчуждения и потребления человеческими массами друг друга. Традиционализм провоцирует негативное отношение к теоретическому знанию, богеме, юмору и иронии, отсюда – отрицание высокого модерна как воплощение этико-рационального и низового постмодерна как воплощение эстетико-иронического, неприятие космополитической логики парадоксов – этноромантический пафос, доведенный до фанатизма. Если тоталитаризм – это апофеоз серьезности, основанный на синтезе фольклорной архаики и раннего модерна, то ему противопоказан юмор. Юмор как умение мыслить противоречиями, создавать объемную картину мира, деконструировать пропаганду и ускользать из властных структур в пространство творческой свободы и составляет гуманистическое ядро постмодерна. Постмодернистский богемный эпатаж (гротеск, клоунада, травести) как символическая репрезентация архетипа Трикстера/юродства является средством разрушения властного дискурса через трагикомическую имитацию профанного (двойной код, декаданс, поп-арт, хиппи, битники, рок-культура, артхаус). Впрочем, отношение к юмору может иметь и другие формы. Существует мысль, что патетическая культура своим гротескным пафосом и догматическим ретроградством не только не укрепляет идеологию, но и в значительной мере вредит ей. Юмор же, отражая терпимое циничское отношение к идеологии как к бытийной необходимости, толерирует ее, заставляя думать, что лучше что угодно, нежели хаос. В любом случае соотношение юмористического и серьезного в моделях интерпретации идеологии как догматической или циничной говорит нам о сложной системе взаимодействия между тоталитарным и эстетическим, тоталитарным и рациональным, тоталитарным и сакральным.

Религиозный фундаментализм имеет много проявлений: мессианство (вера в историческое предназначение выбранной этнической / классовой группы людей); антеизм – консерватизм, ретроспективность, идеализация прошлого как «Золотого века», в который приведет будущее в результате завершения цикла; распространение ностальгических идентичностей, согласно которым любая консервативная форма правления – монархия, империя, родоплеменная или религиозная община – воспринимается как воспроизведение хтонического архетипа Великой матери, символа уюта и эмбрионального комфорта. Характерен синдром «общих своих» по В. Waldenfels, согласно которому массе объединенных под общим идеологическим знаменателем людей корпоративные ценности правящей верхушки подаются как «национальные», «государственные» или «мировые». Следствием действия синдрома является редуцированное обеднение идентичности – слияние воедино этнического, языкового, религиозного и цивилизационного начал в моделировании способов самоопределения субъекта: принадлежность субъекта к определенной нации определяется не гражданскими, правовыми и государственными критериями (права и обязанности населения страны) и даже не метафизиче-

скими, ценностными и мировоззренческими (выбор этнонационального мифонаратива как «исторической судьбы» народа), а генетическими: язык, этнос, ментальность, архетипы, антропологический тип.

Фундаментализм, в особенности религиозный и этнический, уводит нас через сакральный опыт в сферу Символического Отца, с которым ассоциируется институт власти (вождя, партии, государства, военной структуры). Патернализм как система отношений между субъектом и властным дискурсом предусматривает добровольный отказ от гражданских свобод ради режима, который воспринимается как унифицированный гарант порядка и заменяет утраченные права социальным пакетом защиты. Любые оппозиционные силы и альтернативные модели идентичности воспринимаются в условиях патернализма как потенциальный источник хаоса. При этом сама власть приобретает сексуальный характер и выступает как предмет сублимации либидозного влечения или проекции архетипа Тени с последующей идентификацией с последней. Нередко Символический Отец принимает гротескные формы, утрачивая нормативную способность к раздаче символических статусов, ролей и функций, а затем и вовсе превращается в мертвого Отца (равнодушного Другого), который не может служить источником требований. Это вызывает у субъектов тоталитарного сознания состояние растерянности и кастрации, кризиса идентичности и ощущения утраты бытийной опоры (нехватки, зияния), что побуждает их к сшивке и самоцензуре – принятию ими для самих себя еще более жестких требований. В условиях как высокого, так и низового патернализма (вертикального и горизонтального уровней контроля) коллективная (приписана) идентичность замещает индивидуальную и служит иллюзорно-компенсационным механизмом преодоления личных комплексов. Фаллофонологоцентризм проявляется в образах патриархальной мужской сексуальности, выраженной в стилевой эксплуатации образов оружия как символа пениса, развитии агитационной эстетики и неприятия гомосексуализма.

Выделив основные черты тоталитарного сознания классического типа, которые, несомненно, реанимированы в различных комбинациях в неототалитаризме, предлагаем перейти непосредственно к анализу тоталитарных установок в неомодерне. Первая из них идентифицируется нами как новая модель властных отношений, отличная от садомазохистской, выделенной в классическом тоталитаризме. Происходит переход от дисциплинарного общества (Паноптикон), где меньшинство контролировало публичную жизнь большинства посредством бюрократических аппаратов (сверху вниз), – к «обществу контроля» («Синоптикон» по Vauman Z.), где большинство контролирует и меньшинство, и большинство (горизонтальный контроль) на уровне частной жизни из-за тотальной прозрачности информационных технологий (Baudrillard J., 2000). В «обществах контроля» нет доминанты осуществления контроля: все контролируют всех, модерн приобретает неомодерн «текучих» (Liquid) форм, желание наблюдать сливается с желанием быть предметом наблюдения, что мы идентифицировали ранее как тотальный вуайеризм в психоанализе фильмического состояния общества. В отличие от патернализма, в новом тоталитаризме речь не идет об укреплении власти отдельных национальных правительств как «родителей» народа

через простую сублимацию. Власть выходит за пределы отдельных политик, рассеивается в виртуальном пространстве и становится глобальной. Принимая на себя драйвы распыленной сексуальности (транссексуальности), она выступает как биовласть (власть-зрелище по S. Žižek, «машина желаний» по Deleuze G., Guattari F., 2007) – продукт многовекторной проекции опустошенного либидо на институты брендинга, политической рекламы и пиара, включая пиар на войне. Власть-зрелище контролирует не только public, но и private life, превращаясь в предмет сплетни, желания, отвращения и развлечения. При таких условиях ее репрессивным органам остается только роль индикаторов и трансляторов в общем желании наблюдать и интересоваться: общественность берет на себя функции контроля, создавая локальные сообщества в сети и удовлетворяя, таким образом, свою потребность в солидарности через виртуальные клише.

Третий симптом нового тоталитаризма непосредственно вытекает из первых двух и идентифицируется нами как «идеологический китч» – феномен поп-культуры, выраженный в особом рода пропаганде – сентиментальной презентации радикальных милитаристских идей под официальной государственной морализаторской риторикой. Китч проявляется в массовом коммерческом производстве агитационных мировоззренческих, промышленных, бытовых и художественных текстов (от речевок и плакатов до литературных и архитектурных произведений), которые становятся элементом индустрии развлечений и призваны формировать сознание обывателя. Речь идет о реконструкции патетического синдрома, обозначенного в свое время в социологическом контексте Хосе Ортега-и-Гассета как «восстание масс». M. Kundera (2014) идентифицировал это явление как «империю тоталитарного китча»: «... Все, что нарушает китч, выбрасывается из жизни... любое проявление индивидуализма (ибо всякое отличие – плевок, залеплен в лицо улыбающегося братства)...» (с. 279). Последний можно рассматривать как результат консервации стихийного революционного духа: гомогенизация жизненного мира, гегемония правящей партии, этнорелигиозные чистки, цензура, бюрократический аппарат, пропаганда милитаризма, массовость, редукционные стереотипы, отсутствие дистинкций, репрессирование Другого как Чужого.

Природу идеологического китча можно раскрыть на стыке эстетической (поп-культура), религиозной (мифология) и социальной (власть) категорий. Квазирелигиозная ностальгия (от тоски по собственной юности – до тоски по юности человечества) в обществах неомодерной массовости дает нам неслыханный всплеск эстетической пропаганды, главным героем которого является представитель среднего класса, мещанин, крестьянин, пролетарий или классовый маргинал, субъект социальной фрустрации, которого воспитывают как «героя», но по сути превращают в фанатика. Одним из средств воспитания обывателя как воображаемого пассионария является трансформированная в соответствии с потребностями тоталитарности сакральная традиция, которая превращается в эклектичную совокупность различного рода мифологических, эзотерических и собственно религиозных концептов, призванных удовлетворять потребности социальной мегамшины войны.

Идеологический китч существовал также и в обществах модерна, но имел там принципиально иной характер. Если ядром современного китча была

коллективистская модель конвейера (механической массовизации), то ядро идеологического китча в постмодернизме образует тенденция к ошибочным формам индивидуальности в виде популистского элитаризма – элитаризации массы, которая под влиянием политической пропаганды героизирует саму себя. Элитаризация массовости является обратной стороной массовизации элитарного концепта героического, оба вектора диффузии элитарного и массового соответствуют постмодернистским механизмам «двойного кодирования» про У. Есо. В рамках последнего исчезает дифференциация массового и элитарного, а обезличенная диффузная массовость становится определяющей характеристикой личности.

К герою именем «умерших предков» приравнивается любой обыватель, который за счет Большой идеи компенсирует недостаток собственных способностей и получает выход для личной агрессии. Харизма перестает быть монопольным качеством вождя, превращаясь в обобщенную характеристику общества. Героизм становится мещанской нормой. В контексте инициации героя смерть интерпретируется как достойное завершение героического пути. Если внушить человеку, что умирать – легко, то убивать он будет с особой легкостью. При этом каждый из убивающих не чувствует себя палачом, а чувствует себя таким обороняющимся от палачей, что автоматически постоянно ставит его в роль угнетенного, даже если он давно уже гонитель и освящает его «борьбу». Каждый герой воспитывается так, чтобы он чувствовал, что он не служит структуре своей страны, а борется со структурой другой страны: в таких условиях даже преданный жандарм перманентно чувствует себя непокорным революционером. Неомодерная массовость, адаптируя высокие нарративы к восприятию обычных людей, позволяет совместить современный феномен «человека-массы» с постмодернистской эстетизированной сингулярностью. Благодаря опосредованности элитаризмом такая массовость превращает каждого обывателя в исключительную личность – сталкера, мессию, пророка, демиурга – в личность, которая является предметом нуминозного очарования. Новая тотальность, следовательно, опирается на героизацию массы, которая переходит от китчевой сентиментальности – к модели воинствующего милитаризма.

Рассмотрев на общих психоаналитических основаниях классические и неклассические свойства тоталитаризма и неототалитаризма, мы предлагаем вашему вниманию феноменологическое описание проявлений упомянутых психоаналитических жестов и культурных архетипов в двух, по нашему мнению, наиболее распространенных формах неототальности XXI века – праворадикальной (националистической) и либеральной (глобалистской), которые по законам соответствия первой и третьей волны неминуемо связаны между собой в доктрине шока. Начнем с праворадикальной версии. Основной тезис этнического национализма сводится к эссенциалистскому суждению наподобие: «Во Франции живут только французы» («В Германии живут только немцы», «Украина для украинцев»), благодаря чему праворадикальное сознание игнорирует характерные для мобильного постколониального мира гибридные этнокультурные формы («черные евреи», «греческие немцы») или воспринимает их как потенциальную угрозу. Подобное отношение – стереотип, связанный с доминированием в сознании утрированной традиционной системы

ценностей и, соответственно, классической романтической концепции культуры как замкнутой статической субстанции (гештальта), который находится в пределах четко определенного хронотопа и передается исключительно локально через вертикальную эстафету поколений. Показательно, что в основе современного национализма лежат не только типичные для него романтические и неоромантические учения, основанные на творчестве F.W. Nietzsche, но и теории культурных антропологов США (Boas F., 2011), что изначально имели антиглобальный, антиимпериалистический, антиколониальный характер и были направлены на выработку толерантности к аборигенным народам через релятивизм, но впоследствии были использованы либералами как теоретическая основа мультикультурализма, составляющая одну из символических ипостасей глобализма во второй половине XX века.

При таких условиях геополитическая трагедия этнического национализма – это факт его использования глобализмом при одновременной его невозможности вхождения в парадоксальное глобализационное пространство унификации и диверсификации – тенденций развития капиталистического мира, которые переплетаются между собой. С точки зрения унификации, которая снимает ценность национального в пользу глобального, этноцентрические приоритеты национализма выглядят как домодерный анахронизм, этнический «сепаратизм» и реваншизм. С точки зрения диверсификации, которая снимает ценность глобального в пользу локального, идеология национализма выступает как чисто современный шовинизм, который проводит унификационную политику относительно регионов. Частичные региональные идентичности сейчас реанимированы постмодерном и мультикультурализмом через движение к децентрализации и федерализации, к которому не готово националистическое общество с его риторикой унитарного государства. Трагизм праворадикальной версии неототальности состоит в том, что, будучи использована как рычаг либерализма, она самим же либерализмом и уничтожается как отработанный материал по принципу поддержки логики самовоспроизведения либерал-демократии, обозначенной нами как ложный выбор, предлагаемый жертве преступником («кошелек или жизнь»).

Действительно, в современном глобально-локальном мире действует лавинообразный механизм взаимодействия между макрорегионами и микро-регионами, в результате которого каждый субрегион может требовать себе экономической помощи от транснационального сообщества или организации на мировом уровне (вне национальной политики государства) для укрепления политической стабильности, не говоря уже про культурную идентичность. Для Испании это значит проведение легитимации Каталонии, а для Украины – что в идеале Донбасс имеет международное право требовать поддержки от Евросоюза, хотя двойные стандарты срабатывают и здесь, когда Каталония получает от Запада поддержку, а Донбасс – нет. Это соответствует избирательной политике военного пацифизма, которой придерживается символический Другой либерал-демократии.

Идеологи национализма акцентируют внимание на этнической чистоте языка и культуры и в качестве аргумента используют тезис о том, что мир пережил как этап модерна, так и этап постмодерна и вступает в действие неомодерн, идентифицируемый как «новое Средневековье» / «новое кочевниче-

ство» (Есо U., 2011) и характеризующийся универсальными процессами радикализации и возрождения правого традиционализма. К последнему тяготеет любое новое этноцентричное унитарное государство, рожденное после бархатной революции в процессе войны. Якобы такое государство оказалось неожиданно «приспособленным» к современным условиям, ибо не нуждается в мультикультурном опыте Запада (еще один парадокс Евромайдана). И здесь происходит умышленное или подсознательное смешивание радикалами категорий «домодерн» и «неомодерн». В самом деле: неомодерн, выраженный в тенденции к возрождению местных традиций (этнофутуризм, транскультура, глобальная локализация), – это явление, абсолютно не тождественно фундаментализму, провинциализму и «местечковости», более того, именно либеральный неомодерн (Beck U., 2001) в лице своих адептов и будет деконструировать этнические реванши.

Неомодерная релокализация происходит в принципиально иных социально-экономических и культурных условиях. Если местечковость предусматривает фундаменталистскую изоляцию и изоляционистское противопоставление региона, этноса или страны миру с одновременным навязыванием искусственного этнографизма, то релокализация предусматривает рост значения локальностей, которые уже прошли процесс делокализации (потери территориальных границ) и приобрели особую природу динамической открытости, присущую для диффузной и рыхлой «жидкостной современности», имеющей номадические свойства капитала и носителя капитала как «помещика в столице», человека времени, но не пространства (Bauman Z., 2004). A. Giddens говорит о недопустимости возрождения традиций традиционалистскими средствами или о восстановлении локального без опоры на традиции – в диалоге, в конфликте, во взаимобмене, в глобальном контексте: «Переводя сказанное на язык баварской иронии, если уж речь пойдет о телячьей колбасе, то может оказаться, что сделана она не в Баварии, а на Гавайях» (цит. по Beck U., 2001). То же, например, касается трагикомического культурного случая употребления львовского кофе в донецком кафе. N. Klein (2009) говорит о глобальной динамике мира капитализма катастроф, в котором производство бренда товара отделено от ресурса и самого товара, в результате чего происходит использование природных ресурсов стран третьего мира при сохранении центра фирмы в столичном офисе. S. Žižek четко различает фундаментализм с его стремлением к созданию воображаемого пространства абсолютной свободы, источником которой является экстремистская сила волюнтаризма в рамках системы, и современный антиглобальный утопизм с его стремлением вообще выйти за пределы любых символических порядков и систем (Žižek S., 2002a, б).

Выше мы говорили, что спецификой правого тоталитарного мышления является доведенный до гротеска пафос романтизма, который с неизбежной логикой истории начинает культивировать геноцид через суицид. К таким суицидальным чертам романтического национализма мы относим сознательное обеднение идентичности, неспособность воспринимать различия и «местечковость». Идентичность субъекта в пределах ультраправого дискурса отталкивается от классической (метафизической) концепции нации как этноса, что соответствует голосу «судьбы» – Воображаемому, нарративу бреда. Отсюда –



отождествление языка, происхождения и индивидуального цивилизационного выбора в идентификации: украинец должен говорить на украинском и ориентироваться исключительно на украинские этнические ценности. Романтический национализм сознательно игнорирует новейшие формы кросс-культурной и номадической идентичностей как «левацкие» и «постмодернистские», подобно тому, как им же отрицаются нетрадиционные формы семьи, брака и гендера. Неумение видеть дистинкции вводит правое тоталитарное мышление в бесконечную эстафету редукций и проекций в поисках внутренних врагов. Отсюда – установка на местечковый изоляционизм, ксенофобия (включая гомофобию), чистка этнической среды по политическим, языковым и религиозным критериям и – окончательная маргинализация со стороны американизма, пришедшего для того, чтобы стерилизовать конечность этнического реванша. Нет ничего удивительного, что завершить статью мы хотим психоанализом фашизоидных тенденций либерального дискурса как источника базового конфликта в неототалитаризме. Ибо стремление этнических националистов гомогенизировать культурную среду есть не что иное, как Воображаемое – результат дистанцирования от Реального, продукт смещения базового конфликта.

Противоречие между либерализмом как системой, направленной на легитимность Другого, и фундаментализмом, направленным на ценность доминирования, является лишь условным. На примере концепции цветной революции А. Badiou мы показали условия номинации иррационального протеста, из которых явствует, что либералы не были использованы националистами, но сами их используют, осуществляя глобальный контроль над свободным рынком на периферийной территории стран шока. Воздействие на неототалитарное сознание капитализма катастроф трудно переоценить. Он даже составил отдельный этап развития информационного общества после постмодерна – так называемую четвертую волну (альтермодерн). Антиглобализм, способный противостоять неототалитарному влиянию, представлен немногочисленными группами крайних левых, из потомков Франкфуртской школы, а также неоконсерваторами с ностальгической советской и национал-монархической идентичностью в России. Частично антиглобалистских тенденций придерживаются также либералы второй волны, относящиеся к просветительскому романтическому проекту универсализма и космополитизма. Корея и Китай в союзе с Россией как блок геополитического влияния противостоят глобализму в сфере общественных практик. Тем не менее этих социальных и государственных тенденций еще недостаточно. Прибегая частично к аксиологии, мы можем сказать, что мир остается однополярным при господстве приоритетов американского постмодерного стиля: меритократии, менеджмента, брендинга, рекламы, экономики потребления, компьютеризации, свободного рынка, символического обмена и неолиберализма. На волне развития третичного сектора услуг и дальнейшей поляризации общества на богатых (людей времени) и бедных (людей пространства) с полной территориальной непривязанностью первых формируется повсеместная децентрализация, когда государство утрачивает контроль над своими территориями. Происходит возвращение к средневековой местечковости («новое средневековье») с массовыми сепаратистскими движениями. На уровне картины

мира утверждаются плюрализм, фрагментарность, релятивизм и текучесть. На уровне идентичности происходит информационный шок и кризис самоопределения, составляющий вакуум в символической структуре. По мнению представителей критической теории Франкфуртской школы, в либеральную культуру латентно заложен имплицитный фашизм, что связано с развитием проекта Просвещения с его буржуазной предприимчивостью и овеществлением природы. Насилие скрывается под двойным стандартом. Романтизм трансформируется в радикализм – модерную болезнь XX века. Психотип тоталитарного индивида, признаками которого являются фрустрация, кастрация, агрессия, ксенофобия, этноцентризм, цинизм, уже вписан в матрицу линейного нарратива прогресса как неизбежное следствие гуманизма Ренессанса. Отсюда – наши представления о неототалитаризме как о целостном синкретическом явлении, которое сочетает в единое нередуцированное поле смыслов элементы фольклоризма (национализма) первой волны, индустриализма второй и симуляции, свойственной третьей волне.

О мультикультурализме как о радикальном нелиберальном проекте третьей волны, который является мимикрией насилия, неоднократно говорили ученые-антиглобалисты. К числу его традиционных недостатков, которые часто дискутируются в литературе, относятся: утопизм, сентиментализм идеи бесконфликтного существования народов и культур; агрессивная пропаганда тензофобии (боязни конфликта), что приводит к капитулянству и поддержке агрессивной стороны противостояния; культурализм, проявляющийся в стилизации социально-классовых отличий под этнокультурные; неспособность решать проблемы эмигрантских групп и религиозного фундаментализма; фашизоидные (имплицитно фашистские в значении Adorno T., Horkheimer M., 1997) синдромы в виде толеризации правых диктатур как механизмов контроля в условиях капитализма катастроф; оправдание коррупции через неприкосновенность частного пространства; военный пацифизм, выраженный в непрерывном вооруженном противостоянии «за мир» и силовом навязывании либерализма; деидеологизация, связанная с плюральностью, и защита идеологии капитализма; декларация права на свободу слова и невозможность его осуществления в случае с критикой самого символического порядка либерал-демократии и транснационального капитала; редукция травматической журналистской правды к скандализму и дешевой сенсации, вследствие чего достигается занижение сакральной значимости и возвышенности события; выборы как номинальная процедура власти-спектакля; априорное согласие с фундаментальными основами либерализма как данности. Нам бы хотелось выделить главную, с точки зрения феноменологии и психоанализа, «ур-фашистскую» (в значении «вечного фашизма», Eco U., 2003) черту либерального дискурса, с которой очень часто в современном мире начинается тотальность сознания. Речь пойдет, как это ни неожиданно и парадоксально, но о толерантности. Критический анализ ценности толерантности как таковой, которая не только не тождественна подлинному диалогу, но зачастую противоречит ему, достаточно объемно осуществлен в герменевтической интерпретации Поля Риккера (Ricoeur P., 1995) и в психоанализе S. Žižek. Отталкиваясь от них, попытаемся выяснить, как толерантность – универсальная терпимость к множественности – может вызвать тотальность – гомогенную нетерпимую целостность.

Сам факт, что основой толерантности является не любовь, а терпимость (способность терпеть нетерпимое), говорит нам о том, что в ценности толерантности легитимируется церемониальное сокрытие агрессии к Другому. Самоцензура, признание неприкосновенности Другого, обуздание собственных посягательств на него выводят субъекта на хрупкую грань между защитой и нападением. С одной стороны, субъект не имеет права вмешиваться в индивидуальное пространство Другого, защищая его от себя. С другой стороны, он никак не помогает Другому, не работает для него, это может вызывать отчуждение и замешательство. Также субъект, который не вмешивается и не посягает на Другого, оставаясь миром, параллельным к нему, в условиях действия толерантности не теряет своих принципов и убеждений, которые точно так же должен охранять Другой. Принципиальность, борьба за свои права и убеждения, уже содержащая скрытую агрессивность, предполагаемую толерантностью, нередко упирается в отсутствие различия между атакой и обороной, защитой своих прав и посягательством на права Другого, которое продолжает восприниматься как нечто естественное, справедливое, равенство, защита. Выйти из ситуации не-дистинкции бывает очень сложно, потому что логика в пределах толерантности остается формально-бинарной. Признание убеждений Другого в условиях «Я прав – Ты не прав» становится формой снобистского попустительства, что не может не отражаться в либеральной иронии («Я полностью согласен с вами, но разве вы не ошибаетесь полностью?»). Признание убеждений Другого по формуле «Я не прав – ты прав» приводит к разочарованию в себе. Релятивация (признание множественности относительных истин) обуславливает утрату онтологических адекватностей, отчуждение, крах ценностей, разрушение убеждений и кризис идентичности. Так, в условиях информационного шока толерантность через плюрализм может приводить к нигилистическим умонастроениям, что мы и видим на примере ситуации постмодерна в его поп-версии (постправда).

Постправда порождает ситуацию кастрации (онтологической нехватки, отсутствия метафизической истины, зияния), а любая кастрация, как нам известно, обуславливает сшивку Символическим. Так, мультикультурализм вызывает реваншизм в виде фундаментализма, ксенофобии, неототалитарных тенденций. Попытка поддержать межкультурное согласие провоцирует еще большие конфликты, если в основу согласия кладется не этика, а ирония, не любовь, а терпимость, не общий этос, а релятивная плюральность. Деидеологизация, провозглашенная «концом истории» в постмодерне, привела к идеологическим реваншам «нового средневековья» (неомодерна). Идеология, которая вызывает у кастрированного субъекта ощущение подлинности, является симулятивным и символическим образованием (то есть симптомом и фантазмом одновременно, нарративом бреда и нарративом бытия), вырабатываемым в ответ на травму вытесненного бессознательного и образованного вакуума. Цели либерал-демократии – абсолютная свобода для всех – не достигнуты, ибо она стремится властвовать над миром. Выше мы говорили про особую модель власти-зрелища, известной как общество всеобщего вуайеризма (наблюдения) – Синоптикон, – осуществляющее горизонтальный контроль через виртуальный терроризм. Источником виртуального терроризма является самоцензура – добровольная сшивка, согласие людей ограничивать

себя и других ради воображаемого дискурса правильности. Источником самоцензуры, по нашему мнению, является синдром «мертвого Отца», или «равнодушного Другого». В классических тоталитарных системах власть (например, образ вождя) являлась однозначным Ты для субъекта: имела место взаимная нехватка господина в Рабе и Раба в Господине. Господин нуждался в признании со стороны Раба как своего маленького ребенка, а Раб – в признании своего господина как Символического Отца. Вместе они составляли вполне дружную сапфическую пару садомазохистского типа. Этим можно объяснить массовую идентификацию с Тенью (агрессором) в ритуальных акциях тоталитарных режимов. Смерть Отца происходит тогда, когда Господин превращается в равнодушного Другого: он более не испытывает потребности в рабах и перестает служить для них источником символических требований, паттернов, «бейджиков» социального. Иными словами, он не несет нехватки и не раздает нарративы. Ему попросту все равно, нуждается ли в нем Раб, что он будет делать и испытывает ли Раб потребность в обозначивании. Отец более не может служить паттерном идентификации для него. Таким образом, Раб теряет источник Символического, дающий ему ощущение подлинности того, что он существует: «Субъект обвиняет Другого за свою нехватку так, будто этот Другой виноват в том, что его не существует» (Žižek S., 2009, с. 449). В кинофильме «Заочу – полюблю» главная героиня провоцирует своих поклонников на самые безумные поступки в силу того, что она, сама не подчиняясь им, предоставляет им полную свободу, не предъявляя никаких желаний. В таких обстоятельствах кастрированный субъект вынужден заниматься самостоятельным поиском Символического. Нечеткость требований провоцирует его принять для себя еще более жесткие требования: «Из фразы старика Карамазова «Если Бога нет, то все дозволено», следует в контексте нашего опыта, что октетом на «Бог умер» служит, наоборот, «не дозволено ничего»», – пишет J. Lасan (2008, с. 151). В пьесе Евгения Шварца «Дракон» герои, уничтожив одного тирана, сами ставят над собой тысячи других. Задача «убить Дракона» не может быть реализована, ибо источник его находится не вне (в Воображаемом или Символическом), а внутри субъекта (в Реальном). Тоталитарное, таким образом, вытекает не из воображаемых планов заслона социальной действительности, а из глубинных бессознательных мотивов утраченного бытия человека, и вывод этот – сколь и логичен, столь и трагичен, ибо говорит нам об онтологической укорененности тоталитарного начала в генетическом аппарате мозга.